

ЛЕС

Лучшее, что было в моем детстве, – прогулки с отцом по Барзасской тайге. Если из наших общих воспоминаний сделать одну историю, начнется она примерно одинаково, но закончится по-разному. Первое это — их ссоры.

Папа и мама ругаются на кухне. Мне же всего три года, я сижу в комнате. Сначала просто страшно, я жду. Они говорят тихо, и до меня доносится лишь мамины гласные и гул папиного голоса, у него низкий голос. Они прибавляют, и растет мой страх. Скоро мама закричит. Это команда для моих слез, тихого плача. Если я слышу, что они борются, кряхтят, мама пытается ударить отца, то подключаю сигнализацию, чтобы спасти его. Мой визг помогает, для них это сигнал — хватит. Ссора затихает.

Мама остается на кухне, ждет, пока папа уйдет из дома. Он заходит в комнату. Берет меня, заплаканного, на руки. Он одевает меня в кофточку, накидывает курточку, помогает обуться. Сам я еще не отошел, не могу собраться, не оправился. Мы с папой выходим из квартиры, я слышу на кухне всхлипы мамы.

Спускаемся по лестнице, выходим из подъезда, проходим двор, мои слезы высыхают. Смотрю по сторонам, отвлекаюсь. Переходим центральную дорогу, Дом культуры, тут я уже устаю идти пешком. Папа берет меня на руки. Я расслабляюсь. Отдохнув, начинаю задавать вопросы:

– А мы сегодня дойдем до реки?

Он закидывает меня к себе на шею:

– Нет, сегодня просто прогуляемся по лесу.

И сразу же за Домом культуры высоковольтная линия. Мы проходим под проводами и оказываемся на тропинке, ведущей в настоящий лес. Я спрашиваю, встретим ли мы бурундука или белку. И папа отвечает, что сам не знает. Все зависит от них, а не от нашего желания их встретить. Везение. Я сам знаю, что такое невозможно предсказать, но мне хочется задавать ему вопросы, и я задаю самые нелепые:

– А какая глубина в Барзасе? Шесть метров?

– Думаю, метра два.

– Так мелко! – радуюсь я. – Это значит, ты сможешь до-
стать там до дна?

– Смогу, – отвечает папа.

Мы входим в лес. Когда папа устает, он спускает меня на землю. Мы идем держась за руки. С одной стороны пустая дорога, с другой стороны – настоящий русский лес, который живет, дышит, звучит голосами разных животных. Папа находит пару ягод малины и скармливает их мне.

– Какую ягоду можно есть? – спрашиваю я. – Малину?
А еще?

– Костянику, – отвечает папа.

– А какую нельзя есть?

– Волчью нельзя.

– Заболит живот?

– Да. Сильно заболит, не стоит ее есть.

– Пусть тогда волки ее и едят. Здесь же живут волки?

Солнце краснеет и спускается за деревья. В сумерки мы устаем гулять. Это значит, что нужно поворачивать обратно. Всю дорогу домой я уже проведу у папы на руках или на шее. Я больше не способен генерировать свои детские вопросы, поэтому он читает мне стихи. Он знает наизусть Хармса, Успенского, что-то из детского Маяковского. Но для меня пока не существует этих авторов. Для меня есть только голос отца, и папа сам создает эти истории на фоне леса. Я не сомневаюсь, что он придумывает их в настоящий момент.

Чаще всего он читает мне «Великан с голубыми глазами» Назыма Хикмета. Это первое стихотворение, которое я выучу в детстве, которое отчасти запрограммирует мою жизнь. Не знаю, как там решит редактор, но я хочу привести его сейчас целиком (вдруг у читателя, как у меня сейчас, нет доступа к интернету):

Был великан с голубыми глазами,
он любил маленькую женщину.
А ей все время в мечтах являлся
маленький дом,
где растет под окном
цветущая жимолость.
Великан любил, как любят великаны,
он к большой работе
тянулся руками
и построить не мог
ей теремок –
маленький дом,
где растет под окном
цветущая жимолость.
Был великан с голубыми глазами,
он любил женщину маленького роста.
А она устала идти с ним рядом
дорогой великанов,
ей захотелось
отдохнуть в уютном домике с садом.
– Прощай! – сказала она голубым глазам.
И ее увел состоятельный карлик
в маленький дом,
где растет под окном
цветущая жимолость.
И великан понимает теперь,
что любовь великана
не упрятать в маленький дом,
где растет под окном
цветущая жимолость.

В папиной версии этого воспоминания я говорю:

– Это ты – великан с голубыми глазами.

– Куда уж мне, – отвечает он и уже представляет, как
будет пересказывать эту историю своей жене – маме –

за ужином, когда мы все сядем за стол, и сестра с нами, попробуем делать вид, что не было никакой ссоры. Папа даже заготовливает такой застольный комментарий: «Когда я говорю, что во мне сто семьдесят – преувеличиваю, да и глаза – серые».

А я помню другое. Помню, как обиделся на это стихотворение. От голода у меня начинает болеть живот. Но говорю я не про живот, а только про стихотворение. Не знаю, как это передать сейчас с помощью прямой речи. Ведь я описываю случай спустя двадцать восемь лет. Какие слова я тогда подобрал? Но точно помню смысл. Я говорю ему, что не хочу, чтобы мама уходила к карлику. Не хочу, чтобы великан оставался одиноким. Всей своей жизнью докажу, что такого не будет.

Мне сейчас не нравится это стихотворение до боли в животе.

Но папа снимает меня с шеи, как-то очень удобно берет на руки, животом вниз, и одна ладошка намагничивается, оказывается на моем животе, прямо на самом больном месте.

Тепло папиной ладони успокаивает эту боль, впитывает ее в себя, боль заглушается ощущением теплого.

– Стихотворение не об этом, – говорит он.

– О чем? – спрашиваю я.

Он недолго думает. Мы уже выходим из лесу. Его ладонь все еще на моем животе. И он говорит:

– О том, что надо вовремя ложиться и вовремя вставать. А если заболел животик, тихонько пукнуть.

На секунду я обижаюсь: он издевается надо мной. Но обида быстро проходит, и мне становится так хорошо, как будто это самые добрые слова, что я слышал в жизни.

– Пукнуть, – говорю я и смеюсь.

ЭКРАН

Первые шаги как режиссер я сделал в январе 1994 года. Папа через газету, в которой работал, как-то пересекался с тележурналистами, которые дали ему здоровенную видеокамеру. Садись, говорит мне папа, смотри в объектив. Два резца у меня уже выросли, здоровенные кроличьи, торчат, лохматятся волосы, еще совсем светлые, я худой, бледный и смазливый, типичная жертва малолетних хулиганов.

— Что делать? — спрашиваю я у папы.

Но вдруг сам придумываю, зажимаю нос пальцами, чтобы мой голос звучал как у переводчика. К тому времени я посмотрел три фильма на видео: «Кинг Конг снова жив» и «Крепость», – в салоне; и «Бетховен» в квартире, очень много раз, ведь это была пока единственная видеокассета в моем новом доме. Все три фильма были переведены одним гнусавым голосом.

– Десять анекдотов про Штирлица, – говорю я и делаю паузу, ожидая, пока появится и исчезнет воображаемая заставка.

Мне было восемь, и последний год был горазд на биографические повороты. Я поздно научился читать, зато сразу по-русски и английски, параллельно освоил язык программирования Qbasic на приставке ZX-Spectrum (не овладел в совершенстве, но уже мог написать код для простой рисовалки и вывести квадратным курсором рожицу или слово «жопа» на черном экране телевизора) и успел испытать разочарование из-за того, что мне не хватает ума и инструментария для создания игр в кьюбейсике. В октябре парень моей мамы выстрелил ей в живот, после чего сразу расправился с собой – убил себя в сердце. Добродушный, склонный к полноте инкассатор тридцати трех лет, любивший играть в «денди» и стаканами

пивший воду из-под крана, просивший мою сестру (даже моя родная сестра, самая неуправляемая и дерзкая из людей, была с ним обходительной, ей приятно было прислуживать ему, Валере, – обаятельнее человека мы за жизнь не встречали) дать ему воды, но сперва слить застоявшееся в трубе, чтобы было похолоднее. Он навсегда связал для меня любовь и смерть и заложил фундамент, на котором вырастут все мои творческие конструкции. Потом были домыслы, поиск причин, папа, пахнущий междугородним автобусом, как когда он еще жил с нами и каждый день ездил на работу в другой город, бабушка, которая готовила нам еду, мамина трехдневная кома и смерть, о которой бабушке сообщили из больницы по телефону. «Слезам горю не поможешь», – сказал я по заготовленному сценарию, когда бабушка предложила обняться и поплакать. Но я не плакал, уже позже, на похоронах. Я полчаса посидел на диване, потом тупо продолжил играть в бомбермэна. Мне пришлось навсегда расстаться с обоими моими друзьями и переехать из столичного Березовского в пятисоттысячник Кемерово к папе и папиной жене и двум ее детям (моя сестра пока свалилась на бабушку и дедушку), научиться мыть посуду и пол на кухне, принять и разделить со сводными братом и сестрой обязанности дежурного.

– Анекдот первый. – Я загибаю палец. Декламирую про «дуло» и форточку, потом загибаю второй палец: уже не очень уверенно рассказываю про Мюллера и дятла. Только сейчас я задумался: а что значит этот анекдот? Я смеялся, когда кто-то другой его рассказывал, за компанию и не понимал смысл. Заканчиваю неуверенно. Где же взять еще восемь анекдотов для моего импровизированного шоу? Загибаю третий палец и не могу вспомнить ничего.

Мое уши становятся теплыми и, я это понимаю по зуду, розовыми:

– Все.

Какой же я глупый, очень больно осознавать это.

– Что все? – спрашивает папа. Мне кажется, что он глумится над моим позором.

– Закончились анекдоты.

И я закрываюсь, чтобы не было видно слез.

– Не снимай, не снимай, не снимай! Закончились!

– Ты чего так расстроился? – спрашивает он и все не выключает камеру, я смотрю в экран с ненавистью и вижу этот красный огонек: мой позор навсегда записан на видео. Папа действительно удивлен:

– Ты чего как девчонка?

Я прячу лицо под ворот футболки, замер так. Не шевелюсь в этом домике, пытаюсь не существовать, так обжигает стыд. Я не дышу, меня нет, пока он не выключит камеру.